



ПОЗЫВНЫЕ МЕХИКО

С Кававом я познакомился в тундре, куда был командирован для очередного медицинского осмотра оленеводов. Молодой каюр Егор Тынанто привез меня на собачьих нартах в оленеводческую бригаду Ивана Кавав. Нас встретил сам бригадир. Небольшого роста, коренастый, с мощной жилистой шеей, Кавав походил на настоящего борца.

Рядом с небольшим чумом — собственно, это была обыкновенная палатка, только вся обклеенная оленьими шкурами — паслось несколько оленей с огромными мохнатыми рогами. Они ковыряли копытами мягкий снег, чтобы достать ягель — сероватый лишайник.

Иван Кавав пожал мне руку и, кивнув в сторону чума, сказал:

— Я здесь сейчас один. Я их, — он снова показал на чум, — отпустил в соседний табун. Меня ругать будут, но я все-таки отпустил. Там кино.

Я обратил внимание, как бригадир отлично владеет русским языком.

— По ящику вижу: вы доктор, — сказал он, отмахиваясь от вертящихся у его ног собак, — заходите в дом, чего стоять?

— Однако я пойду, — сказал Егор Тынанто, — собаки отдыхать плохо. Ехать надо. Быстро надо ехать. Пурга будет.

— Да, будет, — вздохнул Кавав, — мои оленеводы, наверно, не придут сегодня.

Как бы в подтверждение их слов неожиданный мощный порыв ветра обдал нас снежной пылью. Так бывает, когда в тихую погоду приземлится вертолет, поднимая вокруг облако пыли.

Егор Тынанто сел на нарты и стал окутывать ноги рваной кухлянкой. Собаки залаяли, потом заскулили и замолкли, как только появились первые сантиметры следов от полозьев.

В натопленном чуме сильно пахло шкурой. Шкуры были везде: на полу, на стенах, запиханные в углы. Посреди чума стояла массивная железная печка, в которой весело потрескивали березовые чурки. У выхода лежали две пушистые собаки, уткнувшись мордами друг в друга.

Разговор наш с Кававом почему-то не клеился. Наверное, сказывалось мое плохое настроение. Вот уже целую неделю оно у меня испорчено. В командировки я всегда любил ездить. Но тут вышла прямо сушая каторга. Четыре года я ждал этих двух недель. Ждал, когда зажжется олимпийский огонь в Мехико. Последние дни даже боялся телевизор включить, чтобы, как это часто бывает, назло не испортился. И вдруг срочная командировка: обследовать оленеводов, обновить новыми лекарствами их аптечки. «Что с ними случится? — злился я. — Ничего с ними не случится за две недели. Поеду к ним потом хоть на всю зиму». Но мое начальство было неумолимо.

И вот я сижу в этом пропахшем живой и мертвой шкурой чуме, за стеной воем воем крикливый ветер, а кто-то в городе, лежа на тахте, смотрит Мехико по программе «Орбита». В такт моему настроению Кавав поет под нос что-то нудное и протяжное и подкладывает березовые чурки в печку. Я вглядываюсь в его лицо. Мощные выступающие скулы, срезанный подбородок, плоский нос. А глаза... Много я видел узких глаз, у самого не ахти какие, но таких, как у Кававы, не приходилось. Иногда мне казалось, что они ничего не видят и отличаются от тонюсеньких запятых разве только тем, что поставлены горизонтально.

Я достал тонкую лучину и прикурил сигарету.

— Сам доктор, а куришь, — сказал Кавав и посмотрел на часы.

Я опять обратил внимание на то, как он хорошо владеет русским языком и, главное, говорит без привычного для многих коряков, эвенов и чукчей слова «однако», которым они начинают каждую новую фразу.

— Привычка. А вы что, не курите? — спросил я.

— Нельзя. Вредно. А раз вредно, значит, нельзя. — Он посмотрел на часы. И, не вставая с места, потянулся за транзисторным приемником, который я не сразу заметил в горке спальных мешков — кукулей.

— Скоро Мехико, — сказал он, как-то благодарно поглаживая свою «Сонатку». — Будешь слушать? — И, не дав мне ответить, продолжал: — Интересно, знают ли наши спортсмены там, в Мехико, что мы здесь с тобой болеем за них?

— Наверное, знают, — сказал я, почему-то чувствуя какое-то замешательство, скорее, недоумение. — Спортсмены-олимпийцы знают, что сейчас все болеют.

— Я зимой болел за наших в Гренобле. Плохо, очень плохо выступали.

«Болезньщик Иван Кавав». Эти слова я произнес хоть и в уме, но четко. Мне показалось, что от сочетания их попахивает анахронизмом. Иван Кавав, человек уже возраста Христа, но кроме своей тундры и своих олешек, как коряки любовно называют оленей, ничего не видел. Камчадал, а сам и Камчатки-то не видел. Не знает, как курится Авачинская сопка, какими красками переливается Авачинская бухта на закате. Не был в Долине гейзеров и не знает, с какой поразительной циклическостью бьют кипящие стогоградусные фонтаны, разрезая на десятки метров морозный воздух. Тридцать три года только олени и тундра, и вдруг «болезньщик», цивилизованное слово «болезньщик».

Кавав все чаще и чаще стал поглядывать на часы...

— У меня дома телевизор есть, — сказал я. — Я так хотел посмотреть олимпийские игры, но... вот я здесь.

— Я никогда не видел телевизора. Читал, что скоро будут на батарейках, как моя «Соната». — Он снова посмотрел на часы. — Через десять минут сначала будет Москва, а потом Мехико.

— А откуда вы знаете?

— Отсюда. — Он показал на транзистор.

— Почему же не включить сейчас?

— Рано. Батареек жалко. Они у нас быстро портятся. Много есть батареек, но быстро портятся. Сразу привозят много, а надо мало, но свежие. Я уже десять дней слушаю Мехико и ночью тоже слушаю. Однако плохо наши выступают. Раньше хорошо выступали. Наши плавать не умеют. Я тоже плавать не умею. Борьбу люблю, чаут люблю метать. Покажи мне любого оленя в табуне, и я чаутом его поймаю. Да, худо наши выступают в Мехико. Не совсем плохо, но хочется, чтобы хорошо. В Токио было лучше.

— Иван, а кто в Токио занял первое место по штанге?

Я сразу определил по его взгляду, что он догадался: вопрос мой провокационный. Но, не подавая виду, он спокойно спросил:

— В каком весе?

— В тяжелом.

Он посмотрел на меня, еще больше прищурился. И хоть зрачков я не видел, но лукавинку в них не мог не заметить.

Кавав со знанием дела, до мельчайших подробностей поведал мне историю драматической дуэли Власов — Жаботинский. Он говорил о каждом подходе, называл все цифры, фамилии, говорил так живо, что мне подумалось, будто он сам был участником этой интересной спортивной баталии.

— Однако мне жалко Власова. Он был сильнее Жаботинского. Нехорошо, неправильно получилось.

— Что вы имеете в виду? — удивился я.

— Власов больше Жаботинского поднял, а получил серебряную медаль.

— Где же больше? Сами же говорите, пятьсот семьдесят два с половиной у Жаботинского и пятьсот семьдесят у Власова.

— Пятьсот семьдесят — это неправильно. Это нехорошо. Власов вырвал сто семьдесят, а в троеборье засчитали сто шестьдесят.

Я засмеялся, но Кавав не обращал на меня внимания.

— Сто семьдесят в рывке Власову надо было считать, — настаивал он.

— Так ведь Власов этот вес показал в дополнительном, четвертом подходе, — сказал я, сомневаясь, что мой собеседник знает правила соревнования. «Да и откуда ему знать? — подумал я. — Что может дать “Соната” — единственный источник спортивной информации — разве только одни голые цифры?»

— Ты не прав, — не сдавался Кавав.

— Это не я. Спорт, как и все в жизни, имеет свои правила, законы.

— Закон должен быть правильный. Вот скажи, зачем дают четвертый подход? Чтобы побить мировой рекорд? Да?

— Да, чтобы дать возможность побить рекорд.

— А если он поднимет, значит, рекорд будет?

— Выходит, будет, — я не совсем улавливал дальнейший ход его мыслей.

— А теперь послушай, — он радовался так, будто сейчас сделает настоящее открытие. — Человек побил мировой рекорд, значит, поднял больше всех в мире. Пускай четвертый подход, но он же поднял на глазах одних и тех же зрителей, одних и тех же судей, на глазах у Жаботинского, на одном и том же помосте, поднял одну и ту же штангу, поднял не вчера, не завтра, а сегодня, сейчас. В общем, поднял больше Жаботинского на семь с половиной килограммов; все это видели и Жаботинский видел. Мировой рекорд уважать надо. При чем здесь правила? Если четвертый подход разрешают для рекорда, то при установлении рекорда надо вес засчитывать в сумму троеборья. Мировой рекорд надо уважать. Закон нужен для того, чтобы определить сильного... Ты меня понимаешь?

— Я вас понимаю конечно, Иван! А откуда вы все это знаете? — с нескрываемым удивлением спросил я.

— Так не говори. Если будешь так говорить, я с тобой перестану разговаривать, — с явным раздражением в голосе выпалил Иван.

Я не ожидал такой реакции, тем более что у меня и в мыслях не было его обидеть. Сколько безобидных и бесхитростных анекдотов слушал я в городе о коряках, об оленеводах, об их непосредственности и наивности. Помнится, как я хохотал от души, когда мне рассказывали о том, как коряк посадил картофель и через несколько дней стал откапывать. Когда его спросили, зачем он это делает, ведь еще рано копать, ответ не замедлил себя ждать: «Однако кушать нечего».

Правда, анекдоты в основном рассказывают те, кто и коряков-то в глаза не видел, кто Петропавловск-Камчатский считает Камчаткой.

Мне было ужасно неловко перед Иваном за свой вопрос. Парень, как видно, не просто обидчивый, а по-настоящему, по-хорошему гордый. Судя по тому, как быстро он прореагировал на мой, в сущности, безобидный вопрос, я понял, что я не первый, кто вслух выражал свое удивление.

Позже я узнал, что Кавав не только многие годы ревностно не расстается с транзисторным приемником, но и залпом читает книги, журналы, газеты, которые целыми кипами привозят хорошо его знающие члены Красной яранги и каюры-почталыоны. Я узнал, что его всегда коробит, когда заезжие командированные выражают, пусть даже искренне, свой восторг и восхищение его элементарными познаниями в спорте.

В самом деле, сотни, тысячи, миллионы людей живут в деревнях и городах, никуда и никогда не выезжая. Они пользуются такими же источниками информации, как любой оленевод: радио, газеты, журналы, книги, кино, заезжие гастролеры. Только Кавав от многих, даже от «дюже цивилизованных» отличается своей самобытной, какой-то неисчерпаемой любознательностью, которой он не дает зачахнуть в условиях суровой тундры. Он отличается какой-то математической страстью настоящего, творческого спортивного болельщика. И еще неподдельной, потомственной любовью к снежным просторам, к тундре, к олешкам, без которых его жизнь была бы намного серее.

Я уже думал, как мне сгладить свою вину, и вдруг заговорила «Соната». Послышались позывные Мехико. Кавав держал приемник прямо у уха. Я прильнул щекой к черной спинке «Сонаты». Слышимость была плохая, порой помехи вовсе за-

глушали голос комментатора. Каждый раз, когда цифры тонули в море звуков, Кавав с силой ударял себя по колену. Вдруг он резко привстал, гаркнул: «Тихо!» Хотя я и так молчал, тут я впервые увидел его зрачки при свете керосиновой лампы. Он приоткрыл рот, еще сильнее прижав к лицу приемник.

Я с тупым изумлением смотрел на него. В тот же миг чум наполнился пронзительным криком.

Собаки, лежавшие у выхода, недовольно заскулили, выражая свой протест.

— Восемь метров девяносто сантиметров!!! — кричал Иван. Я не сразу понял смысл сказанного. — Нет, ты понимаешь, восемь де-вя-нос-с-то. Вот это да! Ай да Роберт Бимон! Вот это прыжок!

Кавав несколько раз громко повторял эту цифру, возбужденно ходил по тесному чуму, бурчал что-то под нос, снова повторял: «Во-семь де-вя-носто». Он положил приемник на кукуль и стал спешно одеваться. Поверх пушистой, разноцветной куклянки — национальной шубы, надел бело-серую матерчатую камлейку, похожую на маскировочный халат лыжника десантника. Потом с силой потянул за уши малахай-ушанку, взял две лыжные палки и, ничего не сказав, выбежал из чума. Собаки побежали за ним. Тотчас же чум обдало холодом. Стал одеваться и я.

Казалось, что снег идет не сверху, а снизу. Ветер дул со всех сторон одновременно. Мне пришлось изрядно походить вокруг чума, прежде чем удалось заметить черную точку. Нагнувшись так, что мог видеть только полы своего тулупа, я с трудом добрался до Кававы.

— Что вы здесь делаете? — Я старался перекричать мощный гул ветра.

Я подошел к нему вплотную. Он втыкал лыжную палку в снег. У его ног вертелись собаки, скуля от пронзительного ветра. Я повторил вопрос.

— Сейчас, — сказал он и резко повернул голову от снежного вихря.

В полутьме я успел заметить его лицо. Мне показалось, что оно без глаз.

— Стой здесь, — сказал он и стал отмерять другой палкой с метровой насечкой. Метр за метром он удалялся от меня, каждый раз оставляя на снегу след от палки. Собаки вились вокруг согнутой фигуры своего хозяина. Иногда от нахлынувшей густой снежной пыли он просто скрывался из виду.

Через несколько минут Кавав вернулся ко мне уже без палки.

— Что вы делаете? — повторил я свой вопрос.

— Стой здесь.

— Я и так стою.

— Я измерил ровно восемь метров девяносто сантиметров.

Там палка в снегу. Я сейчас пойду туда, а ты стой здесь.

— Так я же вас не увижу.

— Ничего, мы кричать будем.

Мы стояли на разных концах рекордной длины и что есть мочи кричали на всю тундру. Мы друг друга не слышали. Мешала пурга.

Весь вечер мы говорили об олимпийских играх, то и дело возвращаясь к рекорду Роберта Бимона.

— Я еще в школе много читал про олимпийские игры. Про Кубертена тоже читал. Он молодец. Если можешь, то найди книгу о Кубертене и пришли мне.

Я пообещал, что непременно пришлю.

— Только ты не обижайся, — виновато проговорил он. —

Мне многие обещали.

Ночью я несколько раз просыпался от позывных Мехико. Звуки едва были слышны. Чтобы не разбудить меня, Кавав слушал Мехико в спальном мешке.

Утром меня разбудил лай собак. Кавава в чуме не было. Но одежда его лежала на шкуре. Я прислушался. Тишина. «Пурга кончилась», — подумал я.

Я нехотя выбрался из кукуля, лениво залез в валенки, накинул тулуп и без особого энтузиазма вышел на морозный воздух. Чистое безоблачное небо от мороза было ярко-голубым. Снег искрился на деревьях, на земле. Рядом с чумом стояла собачья нарта. Чуть поодаль в небо поднимался пар, как от термальных источников. Это олени, прижавшись друг к другу, грели себя собственным дыханием.

— И-ван!!! Ка-вав!!! — протяжно позвал я.

— Иди сюда, — послышался голос за чумом.

Я зашагал туда и вдруг опешил. Два здоровяка, раздетые до пояса, держались за ремни, обдавая друг друга густым паром.

— Что вы делаете? Такой мороз... Простудитесь, — выпалил я.

Ответа не последовало. Меня удивило, что они не хохочут, как обычно бывает, когда люди резвятся на снегу. Тут все на полном серьезе. В напарнике Кавава я узнал вчерашнего каюра Егора Тынанто. Тела у обоих были плотные. Под бронзовой,

туго натянутой кожей переливались упругие мускулы. Вдруг Кавав отпустил руки, сделал ложное движение назад, мгновенно подлез под каюра и, обхватив его в замок, поднял в воздух. В тот же миг Егор оказался на лопатках. Кавав помог ему встать, стряхнул с него комочки мерзлого снега. Только тут я обратил внимание, что весь дрожу.

— Ну, что, доктор, давай поборемся, — сказал Кавав как-то добродушно.

— Да что вы? Я сейчас сам упаду от холода! — Я трусливо засеменял к чуму, сопровождаемый веселым, задорным хохотом двух корякских борцов.

Вскоре на шумных оленьих нартах прибыли остальные члены бригады. Я всех прослушал, измерил каждому кровяное давление. Кававу рассказал подробно о назначении каждого из лекарств, которыми дополнили аптечку.

Провожать меня вышли все. Помогли сесть на нарты Егора Тынанто, кто-то поднял тяжелый ворот моего тулупа. Сопровождаемый лаем собак, с которыми я успел подружиться, каюр погонял свою разношерстную восьмерку.

Мне жалко было расставаться с Кававом. Казалось, что расстаюсь с очень близким человеком, к которому привык давно.

Обследовав последнюю бригаду, я попросил Егора отвезти меня к Кававу.

— Однако зачем? Поселок надо. Работа кончил.

— Надо, Егор, очень надо.

До конца олимпийских игр осталось четыре дня. Все это время я провел в чуме рядом с Кававом, болея за наших спортсменов. Эти дни для наших олимпийцев были счастливыми. Счастливы были и мы с Кававом.

В Петропавловске-Камчатском я не нашел книги о Пьере де Кубертене. К великому сожалению, имени этого замечательного спортсмена, основоположника современного олимпизма, не оказалось даже в капитальном «Энциклопедическом словаре по физической культуре и спорту». В трехтомнике были такие слова, как «ухо», «подслух», «пята», а Пьера Кубертена не было.

Две недели я по крупницам собирал из газет, журналов, брошюр все, что можно узнать о Кубертене, исписал целую тетрадь и выслал в тундру Ивану Кававу, моему другу, заядлому болельщику.